



Валерия ШИМАКОВСКАЯ

«НАШЫ»

Валерия Олеговна Шимаковская родилась в Санкт-Петербурге. Студентка четвёртого курса факультета журналистики Московского государственного института международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО). Рассказы публиковались в журналах «Наш современник» и «Юность». Участница фестиваля им. Михаила Анищенко в Самаре, ряда совещаний Совета молодых литераторов при Союзе писателей России, семинаров Союза писателей Москвы «Путь в литературу. Продолжение», образовательного форума «Таврида». Живёт в Москве.

ПРАБАБУШКИ

Это очень хорошо, когда знаешь, что была прабабушка. Что ты не просто взялся и есть, а был сформирован и выдуман, спроектирован и предсказан давным-давно. В поле, под выменем, у дровника и печи.

У меня была прабабушка. У меня было их даже две. Осознавать, что прабабушек у меня было целых две, особенно приятно. У них одинаковы были отчества-имена. И звали обеих Ульяна Павловна. Обе тридцати трёх лет остались вдовами. Обе родили по девять детей.

Они друг друга не знали и так друг с другом и не познакомились. Ходили по разным полям, и коров разных доили, и из дровников разных брали на топку дрова. И жила одна на Украине, другая в Котласе. На Украине о Котласе слышали, знали, что это далеко, но представлений о том, насколько, не имели. Поэтому говорили: это на небе где-то. Что-то вроде созвездия.

Обе Ульяны Павловны были компактны, у обеих с голоду дети пухли, и обе не держали обид. Корову держали, под мышкой — детей, а обиды пропускали сквозь ладони, не желая груз этот брать с собой.

Доказать желая свою любовь, дед говорил бабушке: «Я поведу однажды тебя знакомить с мамой моею Ульяной Палной», — которой к тому времени уже много лет не было на свете. Бабушка же, если дед вздумывал её обижать, точнее — если она вздумывала, что он обижал её, грозила сказать всё матери Ульяне Палне. Дед смирил. Или бабушке казалось, что дед смирил. И на время она переставала грозить ему жалобами своей маме, угоревшей на печке ещё в бабушкиной юности.

И так много разговоров было про одну и другую Ульяну Павловну, что почти познакомились они, наконец, оказались на одном поле, у одного вымени и одного дровника. Что ж с того, что обеих давно не было на свете. Их не было только на свете, но не в помине. В помине они присутствовали. В помине дедушки — в целях доказательства любви. В помине бабушки — в целях усмирения деда. И в моём помине живут они, обе Ульяны Павловны, и задумывают, проектируют и предсказывают меня.

ПЕРЕГОВОРЫ ДВУХ СИМУЛЯНТОВ

Дед мой служил во флоте месяц, и одна из немногих фотографий, какая есть с его

изображением, именно со флота — в тельняшке перед отпльгитем. Можно подумать, что только всю жизнь и морячил. А он валил лес, играл на аккордеоне и танцевал, придя с работы, не успев раздеться, под магнитоу: казачок, раз-два-три...

Дядя Коля, двоюродный брат родной бабушки, был капитаном дальнего плавания, а фотографии у него только с танцев, как будто к рекам и морям не имел он ни малейшего отношения. В действительности дядя Коля морякам даже преподавал и написал «Словарь судоводителя». На полке моих словарей стоит англо-французский, французско-русский и судоводителя. Потому я разбираюсь во всём по чуть-чуть — в английском, французском и дальних плаваниях.

Некоторое время назад дядя Коля задумал написать историю семьи. И стал собирать материалы. И всё ему было горько, что не понимают вокруг, зачем. А он не давал себе заболеть, одержимый работой, а когда заболевал-таки, то шагал по периметру больничного двора, думая, что надо бы узнать отчество тридалёкой родственницы — не сложится без него картина.

С бабушкой по неделе они не общаются. Он просит её рассказать о предках по своей линии, она начинает, но мысль её улетает в неведомые архангельские дали, дядя Коля не поспевает и просит вернуться и повременить, бабушка нервничает:

— Я тебе больше не скажу ни слова. Всё поперёк.

Дядя Коля говорит в трубку задумчиво и утомлённо:

— А ты говори вдоль или по диагонали.

Бабушка и правда начинает об одном человеке и месте, но через минуту переносит сцену в совершенно другой простор и персонажей меняет, и восстановить ход событий, сделать пересказ текста оказывается делом непостижимым.

Дядя Коля в силу нехватки времени ограничиться хочет основными фактами биографии, званьями и орденами. Каждая написанная бабушкой биография членов семьи длится, напротив, страниц пятнадцать и не содержит званий и орденов. Представляю лицо измученного дяди Коли, который открывает бабушкину рукопись, ожидая увидеть краткую информацию: «Володя играл на гармошке, Толя — на крышках от кастрюль». Он просил в ключе позитивном, а у бабушки прочитал: «Любимая мамы песня была: «Как умру я, умру, похоронят меня, и родные не узнают, где могилка моя. На могилку мою уж никто не придёт, только ранней весной соловей пропоёт»».

Вот дядя Коля с бабушкой поговорят, обсудят отрывок рукописи и неделю отходят. Дядя Коля разбирает пока, кем и кому приходится всплывшая в бабушкином тексте тётя Серафима, чем обосновано упоминание некоего Федюни Смирёнова и того, что его забодал бык. Когда созваниваются снова, начинают беседу с

побочных тем: погода, да сердце, да по комплименту друг другу сделают:

— Грамотный ты мужик.

— Мудрая ты, Фаина.

А уж там — про родню, а от родни, понятное дело, к письмам о родословной и к вопросу необходимости в них забоданного быком Федюни Смирёнова.

Полчаса, ну, час проговорят, а экзальтации — на пять дней. Дядя Коля бабушке объясняет своё состояние после сотрудничества примером античной культуры:

— Фаина, такие богини ненависти в Древней Греции были — Эринии.

— Вот сам со своими Едриньями биографии и пиши.

Осложняется дело тем, что у обоих — кардиостимулятор, и сильно не попереживаешь, даже если захочется. Не могут позволить себе распереживаться.

— Я тебе, Коля, поперёк не буду говорить, а буду симулировать с помощью сердца.

Дядя Коля, капитан дальнего плавания, учитель моряков и автор «Словаря судоводителя», вздыхает и соглашается, со своей стороны обещая аналогичную симуляцию.

ЛОШАДИ УМЕЮТ ПЛАВАТЬ

Моя мама в детстве была похожа на родителей, а сестра её, моя тётя — на Александра-сына Дюма. Тётю назвали в честь бабушки Гали, одной из старших бабушкиных сестёр, которая

пела под соснами, отбросив в сторону трость и раскинув руки, как сосна — ветви. Правильно, что тётю называли так же. Я могу слушать в любой час, как она поёт.

Когда собираемся на море, она заранее говорит: я запою вам лошадиную песню. И мы всячески стараемся время выжать, чтобы скрутилось и высохло поскорей, и воздух был густой и терпкий, и мы бы лежали на глади морей.

В эту песню собрана вся печаль. *Лошади умеют плавать, только неглубоко. Недалеко.* На нас сходит сначала волнение, к середине — ужас, к концу — в трюме добрыми мотали мордами — случается срыв. Тётя обыкновенно поглядывает за нашей реакцией, не поддаваясь слезе. Иногда и её проберёт, конечно, — в трюме добрыми мотая мордами, но в основном нас.

Тётя откладывает пенё по мере того, как растёт наше желание услышать песнь. Стоит нам поссориться, она тотчас грозит никогда не спеть. Стоит чем-нибудь ей не угодить... Без неё не звучит эта песня. Без неё этой песни нет. Слова есть, стихи есть, а не мотают лошади мордами, начиная только в её присутствии.

Повздорим, бывает, лежим, на обои смотрим. Возьмёт тётя тихонько, всколыхнёт упругую тишину: *шёл корабль, своим названьем гордым* — и мгновенно

внутри щемит. И комната кораблём становится, и тыща лошадей мотают в гостинице мордами, и...

Но оборвёт, снова вспомнив, что не заслужили её песнь, и зевнёт, оставив нас смотреть на обои, которые к тому времени порядочно расползутся, начав напоминать лошадиные глаза.

КАК БАБА МАША УЧИЛА ПИВО ПИТЬ

День рождения бабы Маши выпадал на двадцатые числа июля. День рождения ко времени, традиционно отождествляемому со старостью (есть люди, у которых старость не наступает во всю жизнь), она начинала праздновать с двадцатого числа и продолжала вплоть до тридцать первого. В июль по этому поводу вложено максимальное число дней. Так смог бы не каждый. Праздновать — умение. Праздновать семидесятилетие в течение одиннадцати суток и при этом не уставать — дар.

Самой большой заслугой бабы Маши было то, что в празднике не было времени, словно конец июля — не начало сбора урожая и не надо было вставать, как только заскрёбся по дому луч солнца. Время ретировалось, скоро поняв, что оно единственный непрошенный гость. Остальным гостям были рады. Даже к празднику не привыкшие могли к нему причаститься, узнать мощь и правду его.

Там присутствовали гости разного порядка. Наяву пришедшие и вызванные памятью. Пришедших, как бы много ни собралось их, неизменно оказывалось меньше тех, из памяти. Чаще всего баба Маша вспоминала свою маму, сестёр и брата, моего дедушку. Она была главным источником рассказов о дедушке. Первоисточником. И помогала избавиться от нехватки дедушек, возникшей из-за того, что не пересеклись в жизни с дедом.

Основная часть праздника отведена была вареникам и песне. Баба Маша лепила самые правильные, раздававшиеся вареники. И уж не знаю, в силу этого ли свойства или другого какого-то, была, хоть и двоюродная, родною. Песни пелись на украинском, песенном по природе своей языке. Начнёшь прозой, дав слово себе додержаться до конца фразы заданные ритм и интонацию, и не заметишь, как сбился на песню. Песня бабушки Маши журчала и колосилась. О чём она была? О чём-то вечном, о невиданной, неистовой красоте, о свободе. Конкретнее не скажу, потому что затёрлось, выветрилось. Я думала — запомнится. А вот забылось. Зато помнится другое: то, что пива не пью я с пяти лет. Вот как это случилось.

Каждое лето приезжали мы в Котлас (это как космос, только под Архангельском) к бабушке Маше. Мы, дети, и моя бабушка оставались у неё на ночёвку. Иногда смотрели футбол. Набирали на тридцать пятой минуте

второго тайма её сына: звонящей выбиралась она, на неё накричать ни у кого голосовые связки не поднимались. Спрашивала за всех: «Наши-то, Колюшка, в красном?» Затем наряжалась: клипсы, юбка шитая, искусственные косы. Ночью спать — под ковром и иконами. Маленькие — гольшом.

И вот с утра как-то раз пиво баба Маша нам предлагает. Моя бабушка так и села с застывшим в губах «едрить». А баба Маша, сама непьющая, сухари уже открывала, на каких значилось, соответственно, что к пиву подойдут. С сёстрами переглянулись, приняли по стакану, торжественно став малолетними пьяницами из благополучных семей.

Одни пили. Бабушки — нет. Моя — *едит твою за ногу* — отплёвывалась. Баба Маша улыбалась невозмутимо.

Она была бабушке золовка, мужа сестра. Вернее, золовочка. Ни один из насупленных терминов — золовка, невестка, свекровь — к ней никак не относился.

Поехали на её родину, Украину. Проводник заходит в купе. А утро же: у нас рацион, пиво по расписанию. Глаза у него как крышки от пива сделались, по краям резные, с нарисованным вместо эмблемы ужасом. Видит: дети пьют, бабушки — нет. Одна — руки на груди — к окну отвернулась, другая — в клипсах — ложки внукам достала: к пенке.

Вечером, на стоянке, ввели в наше купе мужчину. Свободное

место имелось: младшая сестра спала с бабушкой в обнимку. Мужчина был довольно галантен и в не меньшей степени пьян: сделал по комплименту и попросил испить принесённую бутылочку пива. Тут моя бабушка не выдержала и отправила его вон. Пообещал, вздохнув: как вернётся, не услышим ни звука.

Как только начали засыпать, донеслись размышления соседа. Толкая себя на вторую полку, он поведал об устройстве комбайнов, народных приметах и преимуществах маршрута Котлас-Киев над рейсами Киров-Сыктывкар. Когда проезжали под мостом, водрузил себе на голову кошелёк (к деньгам, примета такая) и не преминул в благих целях совершить ту же операцию в отношении спящей внизу моей бабушки.

Наутро баба Маша вынула новые две бутылки, а сосед стал за происходящим левым глазом следить (правый пострадал в пертурбациях ночи). Какое было его удивление, когда от предложенной мне пинты я отказалась. Подумала: до того однажды напьюсь, что положу кошелёк на лоб чьей-то бабушке. А если попадётся хоть чуть похожая на мою, можно сразу и долго жить приказать. Беспьянственно и долго.

На Украине спали на сене. Баба Маша рядилась в платья и плясала на жёлтом поле под аккордеон. Взрослые пили самогон. Мы не слушались бабу Машу и пива не пили. Она не настаивала.

Пива с тех пор не пью. Раз только — поминали бабушку Машу. Девятого марта, после мирского праздника отправилась в церковь на святой праздник — поскользнулась, не дойдя полпути до праздника. Вот уже много девятых март и в остальные дни года она подсказывает, какую дорогу выбрать, чего лучше не делать и остановиться на каком по счёту варенике.

Иногда представляю: поля жёлтые, платки цветастые и изумрудные клипсы. И как увидимся на недалёких днях, и как расскажем ей, что мы и там, и там, и ещё вон там были. Мёд, пиво... Ну, баба Маша поймёт.

ЛЮБОВЬ К СПРАВЕДЛИВОСТИ

У бабы Нины, самой старшей из оставшихся сестёр бабушки, был день рождения. Исполнялось ей девяносто. У бабы Нины специальностей было много, только за последние полвека она заведовала столовыми, швейной фабрикой и хлебобулочным комбинатом. Ещё еженедельно, не смотря на грыжи, полученные при выгрузке вагонов, ездила на дачу и заговаривала знакомым недуги при случае.

Сильнее всего в жизни баба Нина не любила пьянства, любила же — справедливость. Если бы она не была директором хлебобулочного, то стала бы верховным судьёй, потому как всегда готова была распрямить погнутую справедливость.

Однажды баба Нина вознамерилась ехать на дачу, на Бу-мажний разъезд, названный так из-за близости целлюлозно-бу-мажной фабрики. Валил снег, перрон стоял нечищенный, баба Нина упала. Пока ехала ско-рая, она не думала о переломе, а составляла текст жалобы на руководство вокзала в окружной суд, переданный доктору. Дело выиграла, получив компенсацию в шестьдесят тысяч и снарядив жителей города перроном, от которого снег летит, не успев при-землиться.

И вот наступает ей девяно-стый день рождения. И она, грыжу затянув, собралась уж на дачу, но звонят дочери, вну-ки, зятя и просят повидать и поздравить. Тогда баба Нина отставляет сумки и спускается посидеть возле дома, посмотреть на солнце и там подождать род-ню. Эта мысль не сама является в голову бабе Нине, бабе Нине мысль является как раз противо-положная: начистить картошки, сала поджарить, ягод помыть, но семья уговаривает её хоть раз в девяносто лет устраивать себе отдых.

На лестнице она пытается ме-длить: не надо спешить на авто-бус, руки непривычно легки без корзины. Неожиданный отдых до-ставляет ей немало забот. Отпи-рает баба Нина наружную дверь, силится улыбнуться солнцу, но вдруг замечает: у дома нет ска-мейки.

Её, возможно, там и не было никогда. И в иной день баба

Нина и не подумала бы усесться. Но она неожиданно обнаружива-ет для себя работу, и ей от это-го вмиг легчает, и она решает во что бы ни стало добиться столь ею любимой вещи — справедли-вости.

Именинница взлетает на чет-вёртый этаж; ищет, стоя на табу-ретке, номер жилищной конторы и, запыхавшись слегка, звонит, держа готовую смету расходов. Звонит баба Нина со своего второго телефона: первый изве-стен домоуправлению, не столь к справедливости склонному, и добавлен в особый список. Кон-торщики передают друг другу аппарат с голосом бабы Нины, возмущённым отсутствием у подъезда скамьи:

— Захотелось присесть, пото-му ч... Потому что, — со словом «устала» не был знаком её лек-сикон. — Потому как всякий же человек должен иметь крышу над головой и скамейку под задом!

Во время вечерних поздрав-лений баба Нина то и дело под-ходила к окну — криком в фор-точку поправлять работников, если расчёт неверен, подгонять, подбадривать и, судя по беззвуч-но шлёпающим губам, ещё и за-говаривать от пьянства цикламе-новые их лица.

Наутро у дома сохла краше-ная скамья. Баба Нина улыбно-лась, прищурилась солнцу и по-неслась, зная, что впоследствии на скамью едва ли сядет: некогда будет, и вещи класть не станет, жалко, только возле, не на неё, — в сторону первого автобуса.

ЗМЕЙКА

Змейка была ужом обыкновенным и жила под домиком бабушки Оли, папиной мамы. Путешествовала по крыжовнику, сторонилась голых стволов. Вместо двери в доме висела сетка, чтобы комары не налетали. А змейка-то не комар, заползёт — не поймаешь.

Бабушка Оля, впрочем, не пыталась её ловить. Оставаясь один, много теряешь, но приобретаешь общение тех, кто никогда бы не стал общаться, будь ты хоть на один больше.

Нам не хватало бабы-Олиного тепла. Возможно, в ней было его недостаточно — тепло ведь тоже откуда-то надо брать, и явно не из детдома, где она воспитывалась. Когда ездили с папой в сторону дачи, бабушка Оля почти не говорила, а всё смотрела в окно, не убирая со щеки стекающий солнечный свет, — пыталась восполнить тепло, в ней недостающее?

Домик, кусты, овраг. Худенькая бабушка, красная в щеках — пятна от аллергии: работа на химическом предприятии.

Под порогом струится: змейка таится, следит. Всякий раз на время теряет к бабушке Оле доверие, не вылезет по несколько дней, пока та не перестанет вполголоса вспоминать о нашем приезде. Когда шёпот смолкает, чувствует змейка: баба Оля снова одна и, пожалуй, ещё однее, — и ползёт к ней посмотреть, как она там, помолчать — глаза

в глаза — о чём-нибудь. Потом бабушка Оля отвернётся к стенке, не боясь, что змея укусит. Даже радостно, что в доме кто-то. С людьми-то оно тяжело, а вот со зверьём... Раньше — собаки: папа с Севера привозил лаек. Больше других любила чёрного с белым — Поля.

Бабушка Оля ждёт весны — ехать на дачу. «К крыжовникам, сливам, — скажет вслух, — к змейке», — про себя закончит. Купила бельё на постель — в подсолнух — ждёт.

Ждёт, греясь в солнце, змейка — когда погустеют кусты крыжовника да как приедет бабушка Оля.

Бабы Оли не стало первого марта. Участок с оврагом и разросшимися кустами не продаётся. Как только туда заезжали, змейка выселяла в срок нескольких дней. Потому и ныне хозяйство там ведёт она.

ВЫШЛА

Бабушка не хотела выходить сначала за деда. Она не очень-то верила после первого брака в пахшее перегаром понятие замужа и воспитывала сына Сашу сама.

Дед же (в перспективе) всё выдумывал шутки, чтобы она согласилась, — преграждал дорогу, залезал в окно, а устав, придумал самый действенный метод и забил бабушке дверь. Он подошёл к вопросу основательно. Перво-наперво вложил на место, где ключ совершал кувырок, вату;

закрепил конструкцию спичками и потёр, пожалуй, руки, любуясь фокусом.

Бабушке было нужно вести куда-то сына Сашу. Деда это не убедило снять с двери бронь. Он сидел на лестничных ступенях, смотря вверх почтовых ящиков в щёлку неба, проглядывавшую из окна. Бабушка в это время ему кричала:

— Вот как выйду!

Он говорил спокойно и, можно предположить, по дороге сорвал былинку и перекатывал её во рту, потому отвечал слегка невнятно:

— Выходи. Только сразу за меня.

Потом поправлялся:

— Выходите. С Сашей.

Бабушка шикала сыну Саше, чтобы шёл в комнату, и продолжала тише:

— Как же. От первого мужа сын.

Дед продолжал так же расслабленно:

— Ещё раз повторяю: с Сашей.

И, поняв, что не оставил бабушке путей для отступления, позволял себе окончательную шутку:

— Без него я вообще тебя, может, не приму.

Бабушке было очень нужно вести куда-то сына Сашу. И она вышла.

Со свадебным путешествием бабушка с дедушкой припоздали. Они припоздали на двадцать лет. Потому что «некогда» — эвфемизм для понятий «дети»,

«работа». Но важное это событие никак нельзя было пропустить, это было бы противоестественно и противозаконно.

Их свадебное путешествие включало Петербург и Украину. Готовились задолго (считай, за двадцать лет) и были подготовлены лучше других пар, отправляющихся в подобные путешествия. Дедушка на вокзале зашёл в пекарню, и звук первого свадебного путешествия молодожёнов (у них к тому времени зубы не обладали уж такой крепостью) был хрустом обветренных пирожков. В купе дед смотрел на бабушку и в окно, спохватываясь и начинал описывать развешанные над полотном железной дороги пейзажи, он отмечал бабушке, прожившей в этом месте дольше, что здесь удивительная природа. Бабушка комментировала: «Ну и артист». Дед в Питере однажды уже был и чувствовал себя почти что экскурсоводом, то есть говорил: «Вот это, Фаина, дом, в нём семь этажей, я уж в прошлый раз произвёл подсчёты». Бабушка довольно кивала: она работала бухгалтером и к цифрам относилась с трепетом.

Затем пожили какое-то время на Украине. Но по привычке вставали рано, шли на сенокос или к пасеке — месту, где хоть отчасти оправдывали название медового месяца.

Бабушка говорит, что мужчин, если по совести, не любила. Что в основном они её. Что на ней были домашние дела и годовой отчёт, а на любовь не хватало. И так и

не хватило, пока жил дедушка, с которым они, как старик со старухой, тридцать три года.

Недавно произошёл случай. Оговорим, что в отношении алкогольном бабушка строга. Внуки в её присутствии, даже если присутствие их на свете длится уж тридцать лет, наливают в стаканы морс. Развелась она с первым мужем как раз потому, что вино пил.

Подошёл на улице старичок, предложил понести сумки, зачем-то заметив попутно, что жена его давно умерла и что в рот не берёт ни капли, на что бабушка, не ответив, пошла через светофор и, посреди дороги остановившись, крикнула: «А я-то пьющая», — подняла в руках пакет, в котором стеклянным звуком друг об друга ударились банки солений.

Она обделила любовью деда, отдавая себя детям, делам и годовому отчёту. Только теперь ей есть время подумать о том времени. О том, как бы жили теперь. И что ещё тридцать три бы прожили. И берут её сомнения, что не любила никого из мужчин.

РОЗОВЫЕ ПРЯНИКИ

Из всех сладостей бабушка признаёт только пряники. Их можно и всухомятку, и к чаю, и с молоком. Нужно на пряник надавить предварительно — не сильно, чтобы начинка показала, но не вытекла, и обдало бы запахом мяты, или варенья, или ещё чего. Закрывать глаза, запить

чаем, или молоком, или так, всухомятку, и слушать бабушку.

Стояла зима, и хлеб промерзал, словно сам был снегом, и вяло топилась печь. Сидели дети и мать, холодом убаюканные. Но вот открылась дверь, и в ней — старший брат Валя совсем ещё маленькой бабушки.

Нам с сестрой особенно нравилось слушать про него. Мы с бабушкой спать ложились, ложились всё поперёк: не хватало места, и за уши её дёргали, вереща: «Ушки-ушки-ушки-ушки», — уснуть без этого не могли, а бабушка рассказывала старое и песни пела, и всё грустные, и говорила такое, про будущее своё такое что-то, что мы, отвернувшись, плакали долго-долго, а она пела всё, грустное всё пела, а мы пока тихонько плакали. Затем брали её за тёплые, непроколотые, растянутые от наших усердий уши и просили: «Бабушка, ведь ты никогда не? Поклянись, бабушка. Нашим здоровьем». Успокоившись же, предлагали порассказать ещё о брате её Вале, самом бесстрашном герое историй бабушки и нашего детства.

В пять лет отправился с детьми в лес, и ему не понравилось. Уж не помню теперь что — лес или дети — в совокупности, видимо, и он свернул на дорогу, которая, думал, к дому вела. Искали пять дней, мать ходила к знахарке. Нашли: Валя был живой. На другой раз он запутался об уздцы и час ехал вниз головой на лошади.

Теперь перед нами в вечернем рассказе бабушки выросший Валя. Он служит в части неподалёку и, когда солдатам раздали по несколько пряников, начальство не уведомив, побежал домой. Куртки не снимая, подносит вспухшие, потресканные морозом руки к огню, поворачивает их на свет печи. В искрах сияют два розовых заиндеветших пряника. С места не двигается: к валенкам примёрзла нога.

— И ни одного не съел доробгой, — говорит бабушка, поднимаясь из толщи воспоминаний.

И мне в момент становится непреодолимо стыдно, что не утерпела и, выйдя из магазина, съела два, и ещё за одним потянулась, и я решаю не смотреть пока на бабушку, и, прожевав, только слушаю, как давит она пряник, смачивая его чаем или молоком.

УМНОЖЕНИЕ

В Анапе сестра почти не выходила из моря, хотя вода к тому времени ещё прогрелась не до конца. Мама дала задание бабушке: обучить внучку таблице умножения. На это бабушке отводился двадцать один — три на семь — день. Бабушка чувствовала свою ответственность.

Иногда сестре было не избежать умножения и в воде. Нанырившись на глубине, двигалась она к берегу, где к ней подплывала бабушка: «Шестью восемь...» Не надо объяснять, почему сестра плавала даже

тогда, когда над морем был вывешен красный флаг. Бабушка и сама способствовала тому, чтобы мы в красный флаг купались: у нас *всего двадцать один день* на море, как можно хоть купание пропустить. За выученный столбец бабушка поощряла.

Ближе к вечеру, набережная (а ведь вечер — такое время, когда завтрак ещё не скоро, а от обеда уже далеко). За рынком, в стороне от дороги торгуют выпечкой. Запах варёной сгущёнки смешался с солоноватым морским воздухом. Мы с сестрой убегаем вперёд, откуда тянет сгущёнкой, и возвращаемся к бабушке. Мы ничего друг другу не говорим, разве что одними глазами — о сгущёнке, и взглядом пытаемся передать ту же мысль бабушке. Когда почти дошли до ларька, а воздух нестерпимо впитал в себя всю сгущёнку и зовёт настойчиво и призывно, сестра говорит:

— Предлагаю взять по одной булке на утро.

Бабушка смотрит вдаль. Она говорит: сбегайте, посмотрите, что впереди, а я пойду тише. И мы бежим, и бежим только первые метра два, а потом замедляемся, потому что по мере удаления запах сгущёнки перестаёт, и переходим на шаг, и глаза только наполовину открыты, половина другая — в блаженстве.

А потом обратно бежим, потому что знаем прищур бабушки, и теперь главное — не пропустить, как она, уже купив молока, у ларька просит: по две с варёной

сгущёнкой. Мы стоим поодаль, её не разоблачая, и произносим по пути:

— Как договорились, по одной и на утро, — и друг другу с сестрой помогаем нести пакет, и так все трое зная, сколько там булок, и что уже через гору, до рогу и переход мы дойдём, и бабушка разрешит каждой съесть сразу по две.

КРЕМ-БРЮЛЕ

— Весна — лучшее, что могло случиться, — говорю я, подставляя лицо ветру для поцелуев.

— После Марка, — поправляет сестра, глядя нашу палевою (не коричневую и не серую) левретку. Можно ещё — цвета крем-брюле.

Бабушка говорит, он похож на крысу. Мама считает — на пса королей. В этом вопросе мы с сестрой целиком на маминой стороне.

У него не хватает зубов, а теми, что есть, сам он схватить едва ли чего может. Но это детали. Он, пожалуй, поавантажнее с зубами-то выглядел бы, да леврету дарёному в зубы не смотрят. Тем более, когда дарит его судьба. Он судьбу сам не то чтобы, верно, любит — надоумила выпрыгнуть из машины прежних хозяев и месяц на улице жить, пока кто не подберёт. Но ему не к чему любить судьбу, это уж наша с сестрой прерогатива.

Бабушка внезапный подарок не чествует. Она не относится к разряду «любитель животных».

Любила кошку Принцессу, безропотнейшую кошку, занимавшую ровно столько места в странстве, чтобы существовать, другим неудобств не доставляя. Принцесса снесла подрезание усов, которые, согласно моим наблюдениям, закрывали ей горизонт. Но Принцессы к тому времени не было. Она ушла, чтобы не создавать никому хлопот, в лес, когда настало время. С той поры в семье и началось к животным однолюбие.

С детства навидалась бабушка крыс и не желает жить с их представителем под одной крышей. Причитает: могли бы пса и с зубами выбрать, и без раскосых глаз. Мы в это время закрываем Маркуше уши. Глаза у него и правда раскосые чуть, и один, как сестра раз заметила, смотрит в прошлое будто, а в будущее — другой, причём последний порядком подводит.

Бабушке часто сны снятся. И всё неправдоподобные, вроде «засыпаю и вижу — внучки моют полы...»

Уезжая на море, отдали Марка друзьям. Бабушка с ним остаться не согласилась. Вернувшись, мама отправилась в дом, а мы с сестрой — забрать Марка. Но тут друзья сказали, что собаки у них нет. Мы ринулись к себе, не выслушав объяснения, по пути придумав объявление о пропаже, вспомнив, где лежит папино ружьё, — отгонять ночью лис — и нареветвшись вдоволь.

Близится дом. За забором, под елью, расстелено покрывало.

На нём лежит бабушка. Боком, спиной к нам, подложив под голову руку. Приглядеться — возле её груди дремлет Марк, а она качает его и — прислушаться — напеваает одну из песен, какими баюкала в детстве нас.

Позже объяснила: был в день нашего отъезда сон ей, что пора прекращать собачиться. И пса у друзей забрала. Пока не было нас, зубов не надевала — из солидарности с Марком — и очков тоже, чтобы не замечать раскосости глаз. За неделю Марк убил на участке крысу (уж не знаю, как это ему удалось, но точно не зубами) и навсегда избавился от подобной клички, сразу перейдя в разряд королевских собак, палевых левреток, можно сказать — бабушке тоже начало так казаться — цвета крем-брюле.

СПИТ ДОМ

Спит мой большой дом, промёрзший за время сна, остыла главная жилка его — печь. Но вот начнёт просыпаться: тихо проминается под бабушкиными шагами пол. Бабушка почти не спит ночами, так разве что, полегит с глазами закрытыми, а потом откроет и станет смотреть, как ссыпается в утро ночь. Передумает всё, о чём думала, — счёт уже на сотни ночей.

Папа тяжёлым шагом спустится по лестнице и станет умываться, разливая воду кругом так, что с непривычки незнакомые люди проснулись бы.

Папа и нас учил умываться подобным способом, но не усвоили — к сожалению папы, к счастью остальных обитателей.

Папе с бабушкой желательно не столкнуться. Это желательно для спящих ещё членов семьи. Папа с бабушкой полюбовно общаются только в первой четверти ночи, после того, как бабушка папу оставит несколько раз в дураках, выйдет к окну и скажет, увидев из-под темноты стоящий у дома папин катер для рыболовства, который он назвал Фаиной в честь бабушки. Катер папой ещё не опробован, и, если не станет ловиться рыба, папа вспомнит известное: «Как катер назовёшь...»

Спят с сестрой мама. Сестра больше всего любит великое это дело — спать — и совершает выбор между любимым другим занятием и сном в пользу последнего. Что ей снится, раскинувшей руки? Сон как танец — разметались волосы по подушке, голова на боку. Мама спит, передавая талант ко сну сестре и сама его не утратив. Безмятежен сейчас их сон.

Но вот столкнётся в коридоре с бабушкой папа, и, так как время хороших их взаимоотношений ещё не пришло и наступит только в первой четверти ночи, разразится большой утренний взрыв, разнесётся осколками криков, рассыплется ругательствами бабушки и эхом молчания папы. Бабушка, чей настрой сбит встречей (не виден пока из

окна катер её имени), у лестницы крикнет спящей части дома, что та занята тунеядцами. Вынут руки из-под голов мама с сестрой, посмотрят на часы и, увидев там цифру, с тунеядством с их точки зрения не соотносимую, снова заснут.

Папа к тому времени расшторит кухню (издалека видно крышу катера), уйдёт. В душе бабушки уляжется, она сядет любоваться и готовить хорошие слова, которые папе скажет вечером, не забывая в мысленном втором столбце отмечать попутно выражения нелицеприятные, предназначенные для произнесения в первой половине дня.

ПАПИНА ПОЭЗИЯ

Папа папы папе писал: обнимаю крепко-крепко. Папа папе его писал: целую крепко-крепко. Папа папы папу на рыбалку водил и учил любить рыб. Папа папы в одиннадцать лет лишился. И ему некому стало писать: целую крепко-крепко. И не от кого получать: обнимаю крепко-крепко. И осталось одно чувство — глубокое и подводное, и была то любовь к рыбам.

У мамы папы мамы собственной не было. Как и папы. Она росла в белорусском детдоме.

В аттестате зрелости мамы папы стоит пятнадцать троек при общем числе предметов пятнадцать. Пожалуй, мама папы созрела к тому времени не до конца.

Потом мама папы строила ракету Гагарину. У всех бабушка строила Гагарину ракету. Моя работала на заводе, где делали гайки для этой ракеты. Благодаря бабушкиным гайкам он, собственно, и полетел. Примерно тогда же мама папы встретила папу папы, и у него было самое мягкое, самое льняное имя на свете — Лёня.

В письмах в роддом папа папы маме папы писал: «Покрывало, Оля, купить жёлтое, тусклое-тусклое, за рубль семьдесят пять, или розовое, яркое-яркое, за три?» Добавлял: «Если плохое-плохое у тебя настроение, не пиши, пережди. А то мне тоже становится плохо-плохо. Целую крепко-крепко». И ставил в конце колосающееся имя своё: Лёня.

У папы папы все выражения были двойные, одного слова не хватало, не вмещалось в него, что хотел он выразить. Добавлял к первому слову близнеца и, кажется, был доволен.

Слова каждого было по два, а папа у папы папы и мамы папы один получился, и не было ему двойняшки и близнеца. И когда папы не стало у папы, то ему не с кем было разделить озеро с населявшими его рыбами.

«Нерестится рыба и выходит в открытое море», — говорит папа. Рыба — предмет его поэзии. Рыбы складываются в слова, и река представляет собой стихотворение.

Папа против того, что рыбак или там поэт — профессии

отвлечённые, они самые, по его мнению, что ни на есть. У поэтов свои ссоры — а ну как не хватит на всех слов, у рыбаков — свои. Благо можно других рыбаков объехать и найти свою рыбу: открыта река.

Поэты живут в непонимании. У папы — то же. Тонкость чувств за ним и обидчивость. Почему на хлебе покупная икра? Чем вам не нравится моя поэзия? Она без химикатов.

Папа работает в той же обстановке, что и поэты. Далеко и в тишине. Готовится к спуску ночь, и тихо-тихо-тихо-тихо, такое тихо, когда понимаешь, что воды много и за неё бороться не надобно, что слов много и все поймают в сети своё. И читатель по-своему каждый распутает. И даже если не будет читателя и на столе возвысится магазинная рыба, а улов останется в морозильной камере, это ли повод не заводить завтра в реке мотор?

На впадающей в Ладогу реке Бурной папа познакомился с рыбаком, у которого был домик-временка, ему служивший тридцать лет, книги и восемнадцать банок мёда. Валентин Андреевич папе давал кров, мёд и, что для папы всего важней, морозильную камеру рыбе.

У Валентина Андреевича была мечта — съездить на Белое море ловить треску. Поехали. Кузомень с Валентином Андреевичем на Белом море ходили для папы на Батуми детства с отцом.

Папин отец погиб безвременно и случайно. Валентин Андреевич тоже случайно и безвременно, так как нет времени на реке. Папа готовился перебраться на другой берег, Валентин Андреевич вызвался провожать его на своей лодке. По пути сломалось весло, потекла ни разу за тридцать лет не тёкшая лодка. Валентин Андреевич пытался всмотреться сквозь дождь, но не видел белого микроавтобуса, на котором, думал, приехал папа, и продолжал уводить лодку в стору — до камней. Папа был на машине серой и легковой.

Предусмотрев подобный случай (как тут не предусмотреть, живя на реке Бурной), Валентин Андреевич папе оставил домик в притоке Ладоги с морозильной камерой, книгами и банками мёда общим числом восемнадцать штук. Родственники Валентина Андреевича получают раз в год, в день памяти, сорок килограммов рыбы. Это, надобно думать, рыцарский свод, в отношении рыбаков действующий.

МЕЧТА

У тёти Наташи был берет набекрень и чёрные волосы. У неё также имелись твёрдость духа, мечта и любовь к украшениям, а отсутствовало здоровье. Тётя Наташа жила на Васильевском острове, одна в квартире, то есть остров её был не то чтобы обитаемым. Она кого-то любила, но без замужа. Возможно, она любила

брата бабушки дядю Толю. Дядя Толя был чернобров, черноглаз и, как она, геолог, но был женат.

В детстве, до эвакуации, жила она с троюродной сестрой. В гости приходила к ним пианистка, на руке у неё было бриллиантовое кольцо, ловившее свет копилки. У тёти Наташи тогда и зародилась любовь к украшениям.

Потом сёстры поступили на геологию, хотя ничего, кроме любви к походам за грибами, геологии не предвещало. Тогда же сестра вышла замуж, хотя и этого события ничего не предвещало. И та часть Васильевского острова, на которой жила тётя Наташа, с улицей Нахимова, предка сестры, стала обитаема ей одной. Всё это сделало крепким её дух.

Мечтой тёти Наташи был Париж, на который она копила, то есть копила она на беретку, путеводитель, билеты. Приобретала в том же порядке — по важности. После поездки мечта исчерпалась, и тётя Наташа слегла. Ещё к тому времени не жил уже дядя Толя, брат бабушки, ну, чернобровый, мы говорили.

Жена дяди Толи была учительницей географии и перемещала людей в пространстве. Узнав о болезни тёти Наташи, она свяжется с бабушкой и попросит приехать. Бабушка приедет, но не сразу, сразу к тёте Наташе отправится служба социальной помощи, но тётя Наташа помощников выставит, заподозрив в шпионстве. Этот вывод она сделает потому, что заметит

в рюкзаке одного из них польско-литовский словарь. И пока бабушка едет, к тёте Наташе отправится моя мама.

Необитаемый Васильевский остров тёти Наташи омываем Финским заливом. Во времена тёти Наташи (а для меня то, что было тридцать лет назад, — уже чьи-то времена) там не было насыпей, а на насыпях не стояли, корчась от ветра, дома, и только бродили редкие люди.

Крепости тёти Наташиного духа не поубавилось, когда она заболела. И она составила для мамы моей свод правил, боясь шпионов, которыми считала предыдущих помощников, студентов-лингвистов с литовским и польским.

Во-первых, мама должна была смотреть, ничего не пропуская, и досконально описывать тёте Наташе. Тётя Наташа закрывала глаза и представляла. А мама, стараясь не позабыть, рисовала по памяти залив, осень, супящиеся лица, улицы. Особенно улицу Кораблестроителей, на которой жил не строитель и даже не корабль, а человек, который нравился моей маме. Этому человеку тоже нравилась мама. Ещё ему нравилась история, и он говорил маме об истории, объединяя тем самым любимые вещи.

Вторым правилом тёти Наташи было рассказывать всё, что происходит в маминой жизни: только так можно, решила тётя Наташа, понять, шпион ли перед тобой. За то, что мама рассказывала и смотрела, тётя Наташа

кормила горячим: она приспособилась подвигать кресло к плите.

На этом свод законов тётки Наташи не заканчивался. Он содержал ещё пункты о краже и передаче имущества. После кражи вор тотчас изгонялся, а передача имущества оставалась сугубо тётки-Наташиным делом, и этот пункт тётки-Наташиной Правды был засекречен и скрыт. И обе они порешили, чтобы условленное неизменно сохранялось.

Моя мама к кражам не очень склонна. Мы и в детстве не распространялись ей, что взяли на разрез в продуктовом конфет с папой так просто. Зато обокрали по пути к тётке Наташе мою маму, в лифте стащили только что купленную дублёрку. И мама явилась в слезах и с нарушением правил, ибо рассказать ничего, сколь ни пыталась, о том дне так и не смогла.

Тогда тётка Наташа смягчила правила и накормила горячим без рассказов. И заодно почти убрала из подозреваемых в шпионстве, поскольку настоящие шпионы себя обокрасть, по её мнению, не дали бы. Мама не относилась к разряду шпионов ещё и потому, что была влюблена. А шпион, как правило, влюблён лишь в своё шпионство.

Я приступаю к поворотному в моей жизни моменту, к повороту в мою жизнь. Папа, подрабатывая таксистом, поворачивает за угол и встречает мою маму. Мама не видела театров — папа её повёл. Мама смотрела на сцену, папа смотрел на маму. Мама

изучала репертуар, папа изучал репертуар маминых эмоций. Мама с папой образовали свой остров, и мама уехала от тётки Наташи, оставив бабушку взамен себя.

Тётка Наташа любила мемуары Анастасии Цветаевой, Париж, возможно, Толю, украшения и «Санта-Барбару». Я даже не знаю, в какой очередности и что всего сильней. За полчаса до сериала она просила бабушку взбить подушки, пудрилась и говорила:

— Включай, Фаечка, «Санту-Барбру».

И «Санта-Барбра» уносила её от мыслей, что ни Париж, ни Толю, ни Анастасию Цветаеву ей не увидеть, и позволяла забыть себя в потоке чужих историй.

Свои украшения — драгоценные камни из экспедиций — тётка Наташа после польско-литовской интервенции зашила в подушки. Можно было слышать перед уходом врача, проводившего осмотр:

— Распори, Фаечка, подушку, достань бриллиант, подари врачу.

Говорилось это без доли иронии, и врач уходил, смущённый, не зная, куда деть гремящий яркостью камень.

«Санта-Барбара» никогда не кончается. В завещании тётки Наташи прописано чётко, что достанется и кому. Необитаемый остров перешёл по нему — пункт секретного договора тётки Наташи с собой — моей маме. Вместе с путеводителем, мемуарами

Анастасии Цветаевой, фотографиями дяди Толи и кассетами «Санта-Барбары».

У папы и мамы похожие вышли истории. В разное время и разных обстоятельствах появились в их жизни старые люди, тосковавшие по теплу и исполненные им. У людей этих было много общего. Доброе, подёрнутое одиночеством сердце. Страсть к чтению. Сомневаюсь, что Валентин Андреевич питал особую любовь к мемуарам Анастасии Цветаевой — скорее всего, он предпочитал энциклопедию нерестящихся в Лен. области рыб. Наконец, у обоих была мечта, которая, справедливости ради сказать, разнилась. У тётки Наташи являла она собой Монмартр, у Валентина Андреевича — ловлю трески в Белом море.

Они оставили о себе память. Беретку, камни, картинки Монмартра. Морозильную камеру, энциклопедию нереста рыб, мёд. Вместе с памятью они передали, того не желая, маме с папой чувство вины. Мама уехала от тётки Наташи — заводить свою семью. Папа не настоял на том, чтобы Валентин Андреевич не провожал его.

Перезнакомить бы этих людей, произведя небольшой сдвиг во времени и в пространстве. На Валентина Андреевича надеть беретку и научить тётку Наташу готовить треску.

Но пока это знакомство представляется невозможным, договоримся, что тётка Наташа и Валентин Андреевич не встретились

потому, что разминулись. Тётка Наташа задержалась в Париже — период дешёвых походов в музеи. Валентин Андреевич находится на Белом море. Долго, потому что клюёт треска.

ТАЛАНТ МОЕЙ МАМЫ

Моя мама угадывает моменты, в какие мне хуже всего, и, переплыв, перелетев и прогромыхав поездом, оказывается рядом.

Талант этот маме передан от её папы. Она училась в Ленинграде и звонила домой, в город Котлас — маме на работу, так как телефона домашнего не было. И говорила: хочу, мама, домой. Тут и там — в общежитии и дома — не было горячей воды и много ещё чего, но дома имелось удобство — папина любовь. А тут она даже звонить ему не могла, потому что он валил деревья на лесобазе, а по брёвнам связь была не налажена. Бабушка маме говорила: так приезжай. Но чтоб больше — без закидонов. Приезжаешь и остаёшься. Или поступаешь поближе, в Вятку: там натурпродукты молочные. И мама топталась в будке недалеко от Гостиного двора и шла к общежитию без удобства в виде любви папы.

В Казани шёл тяжёлый снег. И олимпиада по литературе проводилась в Казани, снега ещё тяжелей. И я готовилась её — что? — правильно: выиграть. И я её — что? — правильно: проиграла.

Я пыхтела и вдохновлялась. И в эссе разговаривала с Пастернаком. И готова была к возведению

в гении. Не в герои, а в боги. И рассчитывала, что будут выплачивать грант, соответствующий жизни Олимпа.

На апелляции я кричу: да вот! Да у меня Пастернак! Сочиняла, обожанье едва превозмогли.

Обожанье мне превозмогли. И я по-прежнему не получала грантов и была подвержена изменению настроений богов. Шёл снег. Уж не знаю, кто там из богов за него ответственный. Наверно, все вместе, потому что снег шёл уж очень целеустремлённо.

Проиграв, ощущаешь нечто вроде того же, когда разбиваешь коленку. Долго не даёшь мысли опуститься в коленку, но потом враз сгибаешься весь, до изнеможения себя жалея.

Иду на экскурсии по Казани и опускаюсь ниц, не могу больше не обращать на боль внимания. Муса Джалиль стоит, выгнулся, а я так, Муса, не могу. Не могу, хороший, мы ж с сестрой на конкурс чтецов «Волков» вместе учили, и я так в школьном зале садилась, чтобы подсказывать ей. Я много всего учила. Особенно Пастернака.

По казанской снеженной улице движется свет фонарей. Кто-то из группы остался и меня утешает. Но меня не утешит — тут надо только жалеть, и столько сюда вылить жалости надо, сколько зелёнки — на коленку разбитую.

И вот я вижу, что из-за спины Джалиля, развязав его руки от проволоки, ступает моя мама.

Я уже знаю, что мне сейчас станет так же легко, как Мусе — с руками свободными. И хватит жалости в ней, чтобы залечить мою боль.

Мама садится рядом, и снег (а она у меня ходит беспшапочной) застревает в её кудрях. *«Но пораженья от победы, — напоминает нам с Джалилем, открывая зелёнку, — ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только, — отряхивается от снега, — до конца».*

БАЛЕРИНЫ

В начале года, осенью, мы с сестрой ездили за танцевальной формой в магазин на Гороховой. Танцевальный магазин на Гороховой начинался пуантами, пачками и веерами (всё — розово-дымчатого цвета), а завершался чёрными балетками, чёрными купальниками и плотными юбками, которые выглядели невзрачной павою в сравнении с пачками, распушёнными, как хвост павлина-самца.

Пока мы добирались до балеток и чёрных юбок, проходила уйма времени. Уйму занимала примерка пуант и пачек и погружение в зеркало. Это происходило из раза в раз, без исключений, несмотря на то, что мы знали: наш вид танцев не подразумевает подобных одеяний.

Ещё в начале Гороховой мы вздыхали, сетуя на неверный выбор танцев, и просили маму

не выдавать продавцам, что мы не балерины, а занимаемся всего-навсего хореографией. Мы же со своей стороны обещали держать спину и передвигаться на полупальцах. Получалось не совсем натуралистично. Продавцы, надо думать, ещё в наш первый визит всё поняли.

Итак, мы входили, кланялись сторонам и с прямою спиной, на полупальцах, не в силах погасить горящих глаз, приближались к разостланным пачкам. Пока искали размер, комментировали не меняющуюся коллекцию:

— В этот раз ткань как будто лучше.

Это говорила обыкновенно я, толкала сестру, забывшую слова сценария, после чего она спохватывалась:

— Лучше. Будет легче получаться балет.

После мы подходили к пуантам. Пуанты лежали, как десерты, один лучше другого. Глаза разбегались по полкам, и их больше уж нельзя было собрать. Остановившись на каком-нибудь варианте, мы шли на полупальцах, со сведёнными лопатками, в примерочную, где случалось превращение.

После одевания я долго стояла, впившись в зеркало. То же происходило в соседней примерочной с сестрой. Заметим, что магазин располагал всего двумя примерочными, и если во время нашего посещения заходили балерины, им не оставалось ничего, кроме как встать в очередь и ждать, пока налюбujemyся, чтобы хватило до следующего года.

Далее мы показывались, кружились и делали поклон. Ожидалось, что зрители хлопали. Мама должна была тихо, со слезой говорить: «Балерины!» (она так ни разу этого и не сделала), после чего мы переодевались и покупали чёрные балетки, чёрные купальники и напоминавшие хвост невзрачной павы плотные юбки, объясняя продавцу это тем, что пуанты ещё не износились, а пачки приобретём из новой коллекции, для чего обещали обязательно заглянуть в следующем году.

ЛОШАДИ И ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ С ЛЯГУШКОЙ

Рядом с военной базой, над озером, находилась конюшня. Мы собирали гильзы, остававшиеся на земле после учений, и шли смотреть на лошадей.

Купание лошадей завораживало. Оно завораживало в основном сестру, а нас с бабушкой завораживало то, как завораживало её. Сестра сидела или стояла, застыв в позе, в которой увидела заходящую в озеро лошадь, и скользила глазами по её грациозному телу — от ушей до морды, по уздцам, по чёрному хвосту, взметнувшемуся над водной гладью. Она не могла поверить, что бывают в жизни такие большие, красивые звери. Ей не слышна была ругань завсегдатаев детского пляжа по поводу того, что купают лошадей и детей одних в воде не оставишь. Когда сестра смотрела на лошадь, для неё фон из шумов, лиц и леса пропадал,

оставался один только конь, вышагивающий у берега.

У сестры не было и мысли о том, чтобы бояться лошадей. Она боялась воды, это так, вода была холодной, и склизкой, и понятной не до конца, но лошади никакого страха ей не внушали.

Сестра мечтала о встрече с лошастью. О какой-то случайной встрече, на которой стала бы ближе к лошади, на которой рассказала, что для неё лошадь значит и что она бы вечно смотрела, как лошади пьют озёрную воду, если бы няня с бабушкой не уводили домой.

Такая возможность представилась ей. Но, как часто бывает с тем, чего долго хочешь, это что-то поворачивается другой стороной, задней, скажем, и брыкает копытами.

Когда сестра с бабушкой шли по лесу, им навстречу понеслась лошадь. Совершенно безумный взгляд у неё был. Вырвавшаяся из конюшни, летела она, радуясь свободе и не зная, куда её девать. Какое чувство овладело сестрой! Пропал уже звук и фон, и не слышны были крики бабушки, пытающейся отвести её с дороги. Для неё раздавался только звон подков, фыркание да взвивавшийся хвост.

Тем временем лошадь приближалась — стук копыт и фыркание раздавались громче, хвост ударялся всё чаще о ноги и всё выше взметал. Бабушка, отчаявшись безрезультатности попыток окликнуть внучку, подняла её на руки и ринулась на обочину.

Когда лошадь проносила мимо, сестра к ней потянулась (как могла к ней не потянуться она, до дыр запредставлявшая эту встречу?), и лошадь подалась к ней — и вырвала башмак зубами.

Лошадь поскакала дальше. Бабушка называла её вдогонку животными словами. Выйдя из состояния заморозки, сестра обратила внимание на отсутствие второго башмака. И если бабушка расценила это обстоятельство как поступок сошедшей с ума скотины, то для сестры являлось это знаком связи её с лошадьми, внутренней, несомненной, всё крепнущей связи, доказательством которой служило разделение башмаков — по одному для лошадиного и человеческого мира.

У сестры так было со всеми зверями. Даже с менее грациозными, чем лошади. Даже с неграциозными совсем. Ей всех летавших и ползавших было мучительно жалко, жалко от самой себя, но с самой собой она ничего не могла поделать. Она брала их на руки и рассматривала без конца. Рассмотрев же как следует (мы, как правило, подходили уже к дому), целовала взятую в ладонь лягушку и клала на землю, говоря: *до новой, в однажды, встречи.*

У неё одной из всех детей имела такая любовь к зверям, она одна могла не на спор, а по порыву души поцеловать в лоб лягушку. Взрослые, среди которых также не находилось смельчаков, готовых слиться в

поцелуе с лягушкой, страдали тем, что сестра обростёт бородавками: расплзутся по губам, и она не сможет больше никого целовать, кроме лягушек. Ей так-то и не нужно было, чтобы имелся кто-то другой для целовать. Лягушки сестру вполне устраивали. Она бы, конечно, мечтала обнять за шею лошадь и тоже сомкнуть губы на холке её, но это пока виделось делом отдалённого будущего, и для этого полагалось дорости — как минимум, до середины лошади.

Ей не было страшно от животных заразиться. Ни бородавками от лягушек, ни бешенством лошадей, кошек и собак.

На Украине кошек было немерено. Но это жителям украинской деревни, в которой жила старшая сестра деда, казалось, что их немерено, а сестра поставила цель измерить их и занялась переписью населения украинских кошек. Она каждую кошку брала на руки и обнимала. Так определяла сестра вес. Параллельно давала имена. Весь процесс выглядел так: прижатая кошка называлась «Маруся, кошка двадцать вторая, пять килограммов». Как высчитывала она вес, оставалось для меня загадкой. Я пыталась помочь: «Может быть, кошка Сима?» Но у сестры наготове имелось имя, она протестовала против искусственного создания имён, клички вытекали из повадок и внешнего вида: «Какая Сима, это же настоящая Мурка», — и обращала ко мне мордочку взъерошенной

Мурки, и я тотчас признавала, что да, это именно Мурка, а не Сима, упаси кошкин бог.

Словом, всё детство, пока я читала книги, сестра читала жизнь. Мы пересказывали друг другу прочитанное. У сестры всегда содержательней был рассказ. Она проговаривала, какая макушка была у целованного лягушонка, каким клювом обладал севший на качели голубь, и изображала, как гавкал проходящий колли. В сравнении с этим меркли мои вычитанные рассказы, в которых, как ни изворачивался автор, история не дотягивала до жизни.

Огромным разочарованием обернулся для нас обеих момент, когда сестра начала читать. Для неё потому, что она всё теперь пропускала — лягушку, птицу и проходящего пса; мне потому, что она не делилась удивительностью жизни. Мы отчаялись примерно с такой же степенью, с какой обрадовались мама, бабушка и няня. Они не забывали сказать всем друзьям, что младшая наконец зачитала, стала серьёзной и собранной и перестала целовать лягушек. Они не знали, что то была не серьёзность и собранность, а разочарование, что лучше бы сестра никогда не отрывала от лягушки своих губ и не отдавала бы ни части своей непосредственности. Не понимали, что никакие книги — ни самые первые, ни прочитанные впоследствии — не заменят ей эпизоды и сцены жизни, за которыми, как никто из нас, умела она наблюдать.

ОБЩЕЕ

Стоило заплести мне волосы — сестра тут же просила маму сделать так же; отводили ли меня на занятия лепкой — и уж следующее занятие непременно проходило с сестрой; устраивала ли я самодельный офис, имитируя работу, — и вот появлялся рядом совершенно такой же, только поменьше, стол и такой же работник, ростом, единственное, пониже. Меня так это возмущало, что я просила маму, чтобы хоть что-нибудь было моё. А мама отвечала, что не знает деления «моё-твоё», а есть только общее. Мне нужно было иметь хоть что-нибудь только своё, чтобы знать, что я есть, потому что вот лежит вещь, и она лишь моя. Моя без остатка.

У нас всё было общее, вплоть до желаний. У меня на всякую падающую звезду, на горящий огнями торт, мне и не мне предназначавшийся, в запасе имелось желание, за которым долго ходить не было надо, поскольку хранилось у самого сердца. В момент, когда заморгает звезда или подует ветер и смех на свечи, и уж потечёт по сладким коржам воск, я тотчас брала из-под сердца желание, его проговаривала быстро и только тогда разрешала звезде упасть, сдувала огонь, ползущий по восковым тельцам свечек.

Мне не вспомнить, откуда взялось моё желание — подсказал кто? Или сложилось само, из того, чего хотела, боялась, и о

чём — только бы не, тыдытфу — плакала? Нужно было пожелать всем и не обделить, не позабыть, не запнуться, а запнулся — заново, чтобы мама, и бабушка, и её сестра Галя, и муж её дядя Капитон, и дядя Коля, это я его так называю, вообще-то он двоюродный дедушка и капитан дальнего плавания... В общем, *чтобы она, она, он, они, он были здоровы и живы, чтобы, помимо того, счастливы; чтобы по возможности любили меня, поскольку я со своей стороны их люблю безгранично.* Сначала описывались члены семьи, а после, что являлось неотъемлемой частью желания, собаки и кошки. Членов семьи у нас были целые города, собак и кошек — многие поколения. Они все старательно вносились в реестр. Пока шло озвучивание, звезда не выдерживала и падала ниц, и впитывал воск бисквит.

Мысли о том, что у меня не одной было такое желание, не возникало. Моё желание переживало длительный процесс становления, расширялось и поэтизировалось. Но вот однажды я застала сестру, которая говорила своё желание.

В тот день что-то плохое подкралось к семье, что-то, что поставило под угрозу нашу целостность, и она, чтобы это предотвратить, пошла наверх до конца ужина, забралась на подоконник и стала излагать ночи своё желание. Она не слышала, как я вошла в комнату. А я не могла сойти с места: сестра

произносила моё желание, почти слово в слово, составленное мной про себя и чуть что сразу применяемое.

Когда она довела своё желание до лаек Рика и Чайры, и кошки Принцессы, и дворняжки Найды, и семи поколений её щенят, то есть до всех равно обязательных элементов и моего желания, то слезла с подоконника и увидела меня. Вздрогнула, отступила. Я сказала (голос пришлось продавливать из себя):

Почему

Ты взяла

Моё

Желание?

Сестра не умела врать. Весь её вид сразу выдавал закатившуюся в слова лжинку, и по тому, как ответила она:

— Не брала. Это моё, — было ясно, что она не врёт. Тогда я поняла, что её желание было моё желание, что и тут у нас не было деления на твоё-моё, а было общее. И в силу нашей схожести и одинаковых мечт и страхов желание сформировалось у нас, независимо друг от друга, одинаковое, с одинаковой же иерархией, которую неизбежно приходилось делать в членах семьи и домашних животных.

Принять этот факт было нелегко. Я думала, у меня было что-то своё. Хотя бы не из кукол, а мыслей, но всё-таки своё. Я думала, оно такое, продуманное, есть у меня одной только. И — полагала — именно я им оберегаю членов семьи и домашних котят. Эта мысль разбивалась о подоконник

детской, на котором сидела сестра и говорила наше желание. Моего у меня совсем ничего не оставалось. Я заплакала от преследовавшего всё детство отсутствия частной собственности. Сестра заплакала тоже. И когда наш вой стал общим, когда в нём совершенно нельзя уж было отделить мой вой от её воя, она подошла ко мне и сказала, что совместное желание, верно, лучше будет защищать. С этим я не могла спорить.

По мере того как мы выросли, наши желания трансформировались. Основная часть, тема, оставалась неизменной, прибавлялась рема, желание повзрослевших детей...

— Когда вырастем, будем жить в одном доме, с мамой и мужами, — говорю я повелительно. Лето, ночь без сна, мы лежим с сестрой и рассуждаем, мечтая. — У меня мужа звать будут, ясное дело, Валера. Твоего, — продолжала с не меньшей долей категоричности, обращаясь к сестре Юле, — Юрой. В крайнем случае, Юлием.

А сестра лежит, под голову руки закинув, щёки её улыбкой пошли:

— Побольше выбор.

Я, пытаюсь собрать под контроль ситуацию:

— Но чтоб умные оба.

Сестра, зевнув:

— И спортсмены.

Я:

— Лучше кандидаты наук.

Сестра:

— По всем видам спорта.

У меня новое желание появилось у первой. Я загадала его в новогоднюю ночь, выведя заветные два слова и запив их, отозвавшихся икотой, не смолкавшей во всю ночь. Моей просьбой, взлетевшей на подножку желания о благоденствии членов семьи, собак и кошек, был молодой человек. Понятие «молодой человек» только для меня имело конкретику. А вообще было, надо признаться, довольно размытым. Мне чётко виделся человек, какой-то хороший человек, или необязательно хороший, да, совсем хороший необязательно, главное, всё-таки молодой.

Я вписала молодого человека в бумажку, подожгла, съела и проикала его. Словом, сделала всё для скорейшего его появления. И стала ждать. Я ждала несколько лет, но не бездеятельно, а добавив это желание в падение звёзд и стекание воска по тарту.

В преддверие одного из новых годов я увидела выпавшую на пол бумажку. Она лежала у моего стула; я подумала: моя, — и точно, на бумажке после перечисления родных значился молодой человек, так и не успевший за несколько лет обрести отчётливых очертаний. Только буквы были более наклонены и круче завивались корешки тех из них, которым мало для размещения одной строчки. Это означало, что я держала в руках не свою записку. Тут я вспомнила, что моя и вовсе переживает под тарелкою, и совсем уж не знала,

как реагировать на это второе поражение в области желаний.

Сестра о чём-то захмурилась — догадалась. Точно так же до времени полагала, что у неё одной желание молодым человеком дополнилось, так же корила себя, что просит подвинуться основное желание; так же упоминала, что вторая часть может и не сбыться, главное, чтобы сбылась первая.

С того года мы икали новогодние ночи совместно. И, когда падала звезда, задерживались на полминуты, договаривая этого «одого-еловека», и иногда теперь делали это вслух, поскольку решили, что наши желания даже в случае приращений окажутся одинаковыми, в конце концов, и скрывать их друг от друга не имеет ни малейшего смысла. Мы стали вместе ждать, условившись, что так громче протрубит желание наше, заслышат его сразу два человека, возможно, братья, в лучшем случае, Валера и Юра, давно загадывавшие одно желание на двоих.

КЛАДБИЩЕ В КОСМОСЕ

Мы теперь живём на Васильевском, где раньше — тётя Наташа. У нас всё морские улицы здесь. Вёсельная, Боцманская, Мичманская, Кораблестроителей. Шкиперский проток, муниципальный округ Гавань. Морская набережная (жить на Морской набережной, двадцать семь!). Население чаек в несколько раз превосходит людское.

А я чаек боюсь. Не могу видеть, как летают над кладбищем Котласа. Подруга начальной школы бы переспросила: космоса? И я бы ответила: да, над кладбищем космонавтов. Над теми, кто летал душой: над поющей у сосны бабой Галей, танцевавшим под магнитола дедушкой, не снимавшей и на ночь клипсы сестрой его бабушкой Машей.

В космосе не должно быть чаек, что кричат беспрестанно и воруют поставляемую космонавтам еду. Одно дело — выйдешь по Гаванской, заслышишь чайку, свернёшь на Кораблестроителей, доберёшься до Приморской, гулом птичьим охваченный. Другое дело — космос. Я, конечно, космос себе размыто достаточно представляю: по рассказам бабушки Оли, закручивавшей гайки в ракете Гагарина да по картам звёздного неба возле кровати и над головой. И вот ни баба Оля, ни карты не говорили о наличии чаек в космосе. Вот и в нашем бы космосе — Котласе — лучше б не было их совсем.

В семье говорят — не о каждой семье пишут книги, имея в виду, что пишут о многих, но не о нас.

Не о каждой семье пишут книгу — правда. Правда, но зря. Не считаю, что есть неинтересные семьи. И считаю, что предки и родственники автора внутренне богаче его. Отважней,

искусней, трудолюбивее. Он видит их внутреннее богатство, отвагу, любовь к труду. Видит — но и только. При написании есть опасность попасть в ловушку хвастовства. Назовём это — хвалиться дедушками: только кажется, что хвалишься дедушкой, а в действительности хвалишься через него собой.

Я уверена, что это было бы хорошо — написать о прекаждой семье книгу. И давать её вместе с азбукой новым детям семьи. Так проще ребёнку будет разобраться, из чего он состоит. Тридцать тёток, три дяди, с таким-то набором привычек-характеров, и тебе по чуть-чуть ото всех перешло.

Это бы облегчило серьёзно задачу самопостижения. Сократило бы процесс, который длится, как минимум, жизнь. Тогда ребёнок бы занял высвободившееся время. Он смог бы разводить птиц и ездить на речной вокзал, и ему бы это не казалось предосудительным. Он бы знал, что от дяди перенял любовь к птицам, а от прадеда — к кораблям.

Я и дальше буду собирать истории родственников, потому что каждый помогает прийти к себе. Моряки дальних плаваний и любители петь под соснами; люди сдержанные и, наоборот, люди нараспашку. Я не могу сократить процесс самоузнавания, но уже мои праправнуки к этому будут довольно близки. Эх! Дожить бы до прапра...